

Леонид Пажитнов

«Все, все, что гибелью грозит...»

О Ф.М.Достоевском

Окончание.
Начало в "РМ" №4158.

Для Достоевского в несравненно большей степени, чем для Вл. Соловьева, в бессмертии души значительна идея возмездия, Божьего гнева. В его представлении мысль о карающей длани, воздающей в будущей жизни каждому по делам его, — единственная преграда торжеству зла. Однако бессмертие души, равно как и существование Бога, и свобода воли — вещи сверхчувственные, в жизненном опыте не явлены и не даны. В них можно только верить. Разум может в том помочь, показать, что хотя в обыкдене их нет, но существовать они должны, поскольку в противном случае невозможно существование общественного целого: оно бы неминуемо распалось и прекратило существование. Однако эти хитросплетения ума способны лишь расчистить дорогу вере, но родить ее из себя они не в состоянии.

«Дар религиозного чувства приобретает, быть может, труднее всех остальных даров, — писал В.В.Розанов. — Уже надежды есть, бесчисленные извивы диалектики подкрепляют их; есть и любовь с готовностью отдать все ближнему, за малейшую радость его пожертвовать всем счастьем своей жизни, а между тем веры нет, и все здание доказательств и чувств, нагроможденных друг на друга, и взаимно скрепленных, оказывается чем-то похожим на прекрасное жилище, в котором некому обитать. Века слишком большой ясности в понятиях и отношениях, привычка и уже потребность вращаться сознанием исключительно в сфере доказуемого и отчетливого, настолько истребили всякую способность мистических восприятий и ощущений, что, когда от них зависит даже и спасение, она не пробуждается. Все отмеченные черты глубоко запечатлелись в «Легенде о Великом Инквизиторе»: она есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенной неспособностью к нему».

Достоевский жестоко страдал этой болезнью, и она доставляла ему немалые душевные муки. Всегда, когда перед ним вставала задача восславить праведный, истинно православный строй мысли, чувства и поведения, его в той или иной мере постигала неудача. Ему не

столько изменял талант, сколько не хватало веры. По его собственному выражению, он всю жизнь «мучился» мыслью о Боге. «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла», — пишет от в «Записной книжке». Эти сомнения, собственно, и питали его творчество, вдохнув в него ураганную духовную силу. Все оно представляло как своеобразный мучительный путь Достоевского к обретению Бога, с сомнениями, отпадениями, богоборчеством. К вере Достоевский всю жизнь шел, спотыкаясь и оступаясь, но больше «от противного»: он стремился укрепиться в ней, пугая себя и других беспросветным мраком атеистического тупика, изображением нечеловеческих мук, глубин распада личности, которыми чревато богоборчество, утрата веры.

Никто не издевался так зло над утилитаристской моралью, построенной по принципу «цель оправдывает средства», никто с такой беспощадностью не вскрывал растленную природу наполеоновского комплекса самоуверждения вопреки христианским заповедям, как Достоевский. Великую муку претерпел Родион Раскольников, прежде чем освободиться от химеры, завладевшей его умом, будто во имя высшей справедливости и общего блага можно преступить евангельское «Не убий». Разумеется, адрес «Преступления и наказания» был не абстрактен: роман обращался против всей идеологии разночинного революционаризма, который намеревался «звать Русь к топору». Вот этот самый топор Достоевский и засовывает в пальто Раскольникову, отправляя его «на дело» к старухе-процентщице. Раскольников, конечно же, никакой не убийца, и топор как орудие насилия больше подходит какому-то Федьке-Каторжнику, чем ему. Сцена, в которой он обрушивает его на головы беззащитных женщин, абсолют-



В.Г.Перов. Портрет Ф.М.Достоевского. Фрагмент.

но несуразна. Его воспитание, натура, склад характера, отношение к сестре и матери, семье Мармеладовых — все стоит на пути к тому непреодолимой преградой. Но дело-то не в убийстве, а в готовности к нему, в ослеплении идеей, за которой кровавый шлейф. Ведь и идеологи революционаризма — не мокрых дел мастера. Но что случится в мире, если их идеи осуществляются? Это беспокоит Достоевского несравненно больше, чем проблемы гармонии и праведной жизни. Не случайно о безднах падения, которыми чревата зараза атеизма, написан целый роман. Тогда как о благодетельности веры — лишь его последняя строка. Не случаен и бунт Ивана Карамазова, его отказ от билета в рай, если его цена — страдания людские, «слезинка ребенка».

Мораль плоского утилитаризма, столь широко распространившуюся в разночинной среде, с ее принципом «разумного эгоизма» Достоевский подвергает изничтожающей критике. Положенный в ее основу критерий расчета и выгоды, будто бы руководящей человеком даже в его самых чистых и благородных побуж-

дениях, становится, скажем, на страницах «Записок из подполья» объектом беспощадных насмешек. «Когда, во все тысячелетия бывало, чтобы человек действовал из одной своей выгоды?» — вопрошает Достоевский устами своего героя. Нет большей фикции, чем представление о человеке, как существе по преимуществу рассудочном и благоразумном. Самое дорогое для него — «свое собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий каприз», самое важное для него — «по своей глупой воле пожить», и поэтому «человек всегда и везде, где он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть». «Все-то дело чело-

веческое, кажется, действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он — человек, а не штифтик», — этим утверждением Достоевский открыто прокламирует принцип свободы, как краеугольную основу природы человека. Принцип абсолютно западный, идущий от идеологии индивидуализма, всплывшего дух Французской революции.

В понимании сокровенных тайн человеческой онтологии, его психики Достоевский стоит на передовом рубеже своего времени, заглядывая далеко вперед. Однако этот принцип бесконечно его пугает, поскольку свобода слепа и человек во имя свободы способен на любой аморализм. И никакой разум в том преград поставить ему не может. Как раз наоборот, в сделках с собственной совестью он способен на изворотливость поистине бесовскую. Начальная, Богом данная свобода человеку — не только бесценный дар, но и великое бремя, поскольку она оставляет его наедине с собой, превращает в игрушку буруевающих его страстей, нередко преступных, постыдных, ничтож-

ных. Она плодит хаос в душе, обрекает человека на мучительные страдания.

Есть альтернатива: она подробно разработана Достоевским в «Легенде о Великом Инквизиторе». Смысл ее в том, чтобы освободить людей от этого бремени и построить мирское царство на принципах чуда, тайны и авторитета. Потакающее вроде бы сокровенным запросам человека, дело это — антихристово, поскольку превращает человеческое общество в стадо послушных рабов. Но и на другом полюсе, где свобода без границ, она чревата распадом личности, разгулом подполья, а «в свободе подпольного человека заложено семя смерти». И эта идея развита и доказана Достоевским отнюдь не умозрительно. Ее воплощение — Николай Ставрогин, один из любимых героев Достоевского, в котором ему удалось выразить наиболее дорогие для него идеи.

Холодный сластолюбец, эгоцентричный, аристократически надменный, презирающий общественное мнение, способный на любой эпатаж и бравату, — таким он предстает на страницах «Бесов». Но это — лишь видимость, призрачная маска. А под ней — пепел угасших страстей; безмерность творческих запросов — и неспособность их реализации; избыточность сил — и их истощение; готовность к любым крайностям, любому дерзновению и в великодушии, и в пороке — и абсолютная утрата всех критериев Добра и Зла. Для Достоевского он был своеобразным продолжением, а возможно, и катастрофическим завершением галереи «лишних людей», заложной Пушкиным, Грибоедовым, Лермонтовым. И трагедия Ставрогина отнюдь не ограничена рамками его личной судьбы. Она становится эпицентром огромной жизненной драмы. Распад его личности распространяет всеобщее помутнение умов и душ, состояние нравственной глухоты и ослепления, возбуждает роковой азарт месить и перемалывать жизни людские, как глину, преступая все заповеди Христа и элементарной человечности.

Ведь люди вокруг него: Кириллов, Шатов — реализаторы его идей, возраставшие в себе брошенные им семена, испытывающие их на себе. За их судьбы, за судьбу Хромоножки, боготворившей в нем «сокола», «князя», он в прямом ответе — так же, как и за судьбу поруганной им Матрешки. Даже главный «бес» Петр Верховенский в немалой степени соблазнен на свои козни его возвышенным образом сказочного красавца, «Ивана-царевича», «сверхчеловека», блистательного в своем аморализме, которому по плечу возглавить вселенский заговор. От него исходит эманация духовной порчи, поражающей общественную среду, он — ее источник, своеобразный идейный провокатор, неспособный обуздать разбухшие им силы и слишком брезгливый, чтобы ими руководить.

А причина всему, по Достоевскому, — именно свобода, не обузданная верой, не осененная живым ощущением Бога. Свобода — великая правда о человеке, но не последняя. Последняя же определяется этическим началом, тем, к добру или злу идет человек по пути свободы, и самой свободой как таковой этот выбор никак не определен. Свобода изначально заражена «семенем смерти», поскольку человек грешен и подвержен всем страстям мира. И путь его к Богу ведет через страдания, преодоление и искупление соблазнов зла. «Романы Достоевского представляют зрелище, которому нет равного во всей мировой литературе. Они до такой степени исполнены страдания и недуга, что совестно прилагать к ним чисто эстетическое мерило, — писал Ю. Айхенвальд. — ... Однажды испытал страдание, он возлюбил его изуверской любовью, не мог без него обходиться. Это, конечно, далеко от кротости, в этом — гордыня и зло. Христос не хотел крестной муки и молился, чтобы миновала его горькая чаша. Достоевский припадал к ней жадно, извиваясь от боли».

Если это и верно, то, во всяком случае, упоение страданием никак не шло от свойств природы, не было мазохизмом. Истоки его — абсолютно метафизические. Это действительно та мука, которую постоянно, по собственным словам, причиняла Достоевскому мысль о Боге. Она не оставляла его ни на секунду.